

Маршаллу Шатицу,
учителю, наставнику, ученому, критику, другу,
образцу во всем

Предисловие

Как и все революционеры, русские большевики мечтали построить новое, справедливое общество, не знавшее равных в истории. Казалось бы, какое им дело до минувших эпох? Можно было бы предположить, что они не видели в прошлом ни смысла, ни ценности, подобно французским якобинцам, учредившим новый календарь, чтобы показать, что отсчет времени начинается с Французской революции¹. Но в этом большевики расходились с якобинцами. История имела для них и смысл и ценность, поэтому изобретать новый календарь они не стали, ограничившись тем, что в 1918 году модернизировали старый². Марксистская теория, которой во всем руководствовались большевики, трактовала историю линейно: разрозненные на первый взгляд события на самом деле складывались в единый процесс и единую картину. Поэтому большевики не могли себе позволить игнорировать то, что было до них, как не имели права и пренебречь предсказаниями Маркса, пусть и не очень внятными, о приходе коммунизма, которым завершится историческое развитие. Постулируемая марксизмом последовательность антагонизмов между угнетателями и угнетенными — в рабовладельческом обществе, при феодализме и при промышленном капитализме, — по сути, содержала в себе трансцендентный смысл. Разворачивающаяся во

¹ Первым днем якобинского календаря, введенного в 1793 году, стало 22 сентября 1792 года, когда в Париже состоялось первое заседание Конвента. Приняв его, якобинцы придали новый смысл самому слову «революция»: вместо «возвращения на круги свои» оно стало означать «скачок в будущее» [Hunt 2004: 34].

² После замены юлианского календаря григорианским (западным), опережавшим его в XX веке на 13 дней, большевикам пришлось праздновать годовщины Октябрьской революции в ноябре.

времени эпическая повесть о людских горестях должна была служить лишь преддверием к своей противоположности: освобождению человека, которое наступит, когда закончится история и люди обретут благоденствие, радость труда и свободное время, чтобы полностью реализовать себя как личности.

Таким образом, история для большевиков не была бессмысленной. Но нам предстоит четко понять, чем она была им полезна. Может быть, они выборочно обращались к прошлому, ища подсказки, как строить коммунистическое общество? Можно ли было найти в прошлом хотя бы отдаленный прообраз такого общества и хотя бы намек на то, как оно устроено? Или же они искали в прошлом источник вдохновения и морального оправдания, которого неизменно требуют революции — именно потому, что они разрушительны, жестоки, незаконны и почти всегда внезапны? Мы попытаемся ответить на эти и другие вопросы.

Будучи марксистами, большевики видели в прошлом лишь пролог; они верили, что история таит в себе священный Грааль — таинственные, но все же постижимые универсальные законы, объясняющие ее ход с начала до конца, во всех ее многообразных проявлениях, и тот, кто усвоит эти законы, сможет строить будущее в соответствии со своими ожиданиями. Но что, если марксистская идеология оказалась бы ошибочной или недостаточной, что, если она не смогла указать — или указала бы лишь частично, — как будут разворачиваться события после победы революции? Тогда эту важнейшую функцию пришлось бы переложить на что-то другое. В основе предлагаемой вниманию читателя книги лежит предположение, что большевики находили во французских революциях 1789, 1830, 1848 и 1871 годов практически все, чего не обнаруживали в марксизме. Английская революция и пуританское Содружество XVII века также подходили для этой цели — большевики периодически упоминали о них и иногда использовали то и другое в своей пропаганде, — но они меркли по сравнению с тем, что давали революции, начавшиеся во Франции столетием позже³.

³ В начале 1920-х годов пьеса А. В. Луначарского о Кромвеле получила широкую известность, особенно в Москве, где Малый театр поставил ее не как пьесу о столкновении идей, а как костюмную драму. Из-за этого ушла на

Следует помнить, что, согласно марксистскому учению, ведущую роль в любой революции, направленной на построение социализма и коммунизма, должен играть пролетариат; если же этого не происходит, то революция, которая совершается ради него и от его имени, идеологически неоправданна. Проблема большевиков заключалась в том, что в конце XIX — начале XX века Россия по всем экономическим и политическим показателям не была готова к пролетарской революции. Русский пролетариат был немногочисленным и политически незрелым. О том, когда он созреет, можно было лишь гадать. Но анархия и хаос, воцарившиеся в 1917 году, открыли окно возможностей, которое могло вскоре захлопнуться навсегда. К счастью, В. И. Ленин, возглавлявший большевиков, проявил достаточную тактическую гибкость, не отступая при этом от конечных целей, и извлек всю возможную выгоду из уникального соотношения сил, сложившегося в российской столице и некоторых крупных городах: в ходе восстания большевики захватили власть, около года не встречали серьезного сопротивления и за это время сумели создать армию, способную одолеть любых противников. Но это не означает, что идеологическая головоломка, с которой столкнулся Ленин, исчезла сама собой. Напротив, чтобы решить ее, потребовалась умственная гимнастика мирового разряда. Взяв власть в октябре 1917 года, Ленин и его товарищи опрокинули традиционное марксистское представление о первичности базиса и вторичности надстройки. В 1917 году не экономика определяла политику, а наоборот. Перефразируя известное замечание Г. Л. Пя-

задний план параллель между Лениным и Кромвелем, которую Луначарский, занимавший должность народного комиссара просвещения в первом правительстве Ленина, надеялся донести до зрителей [Fitzpatrick 1970: 152–153, 158]. Ни Ленин, ни другие видные большевики не пытались систематически и всерьез анализировать личность Кромвеля или созданное им Содружество, хотя некоторые историки-марксисты, занимавшиеся Россией, проводили аналогии между пуританами и большевиками; самый восторженный из них, И. Дойчер, даже сравнивал Кромвеля со Сталиным [Deutscher 1967: 569–570]. Видный эсер В. М. Чернов утверждал, что, хотя пуритане с их революцией пользовались уважением в России, все это виделось более далеким и чуждым, чем события во Франции. См. [Чернов 1934: 405].

такова (1928), Ленин сначала совершил пролетарскую революцию, а затем принялся создавать объективные условия для ее совершения [Валентинов 1958: 149].

Теперь, когда марксистская причинно-следственная связь оказалась перевернутой, Ленину и его соратникам потребовался авторитет других революций, предшествовавших Октябрьской и, по возможности, близких к ней исторически и географически, чтобы оправдать сделанное ими и найти подсказки, как строить новое общество. Предпочтительно было, чтобы эти революции имели место в странах, где уже успел развиться капитализм. На первый взгляд, у большевиков имелся выбор из множества революций, пусть даже в одной только Европе, где капитализм возник раньше всего. Но многие европейские революции не подходили таким ортодоксальным марксистам, как большевики, так как грешили или чрезмерным либерализмом (Испания, 1820), или чрезмерным национализмом (Греция, 1821; Ломбардия, 1848), или тем и другим одновременно (немецкие государства, 1848) [Elton 1971: 180]. Вместо этого большевики обратились — как можно предположить, с дружным вздохом облегчения — к Франции. Десятилетиями ранее Маркс назначил Французскую революцию точкой отсчета Нового времени и новой истории. А поскольку, согласно Марксу, после реставрации Бурбонов в 1814 году для завершения процесса, запущенного Французской революцией, понадобились дополнительные революции, события 1830, 1848 и 1871 годов стали вехами в революционной телеологии — диалектическом разворачивании истории, которое началось в 1789 году и должно было увенчаться социализмом и коммунизмом. В результате к 1903 году, когда большевики стали отдельной фракцией в российском социал-демократическом движении, они имели в своем распоряжении все компоненты революционной традиции, заложенной во Франции в 1789 году и завершившейся там же в 1871-м.

Разумеется, отношение русских революционеров, причем не только большевиков, к их французским единомышленникам образца 1789, 1830, 1848 и 1871 годов менялось с течением времени. Более того, оно было «двунаправленным»: выводы, к которым приходили русские революционеры, изучая французские

революции, влияли на их соображения относительно будущей революции в России, а их взгляды на собственную революцию отражались на восприятие французских событий. В картине мира русских революционеров Франция и Россия были полярными точками в диалектическом процессе извлечения уроков из истории двух стран; при правильном подходе к делу этот процесс мог изменить ход русской и даже французской истории.

Если говорить коротко, мое исследование посвящено той роли, которую французские революции 1789, 1830, 1848 и 1871 годов — вместе составляющие так называемую революционную традицию — сыграли в истории большевизма и советского коммунизма. Оно также помогает понять, как эти революции влияли на менявшуюся со временем мифологию нового советского режима. Это обширные темы, входящие в состав еще более обширной, а именно темы взаимодействия двух национальных историй и культур, в данном случае русской и французской. Конкретные вопросы, затронутые в книге, и выводы, сделанные в результате их рассмотрения, позволяют недвусмысленно заявить, что вектор влияния был направлен по преимуществу с запада на восток: Россия получала от Франции больше, чем давала ей⁴. К такому же заключению приходит большинство историков, исследующих отношения России с западными странами. Нравится нам это или нет, но Европа влияла на Россию сильнее, чем Россия на Европу⁵.

⁴ К этому выводу пришли не только историки. Еще П. Я. Чаадаев в своем первом «Философическом письме», написанном в 1829 году, со свойственной ему высокопарностью и присущей русской интеллигенции в целом склонностью занимать крайние позиции по любому вопросу, утверждал, что Россия не дала ничего ценного миру и, в частности, Западу [Чаадаев 1991, 1: 90–93]. Неудивительно, что далеко не все русские с этим соглашались.

⁵ Это не означает, что влияние России на Францию не стоит изучать и что книга, подобная этой, но «с обратным знаком», не будет иметь ценности. О влиянии России на Европу в начале XVIII — начале XX века см. [Malia 2000]. Д. Кот [Caute 1964] и П. Холландер [Hollander 1981] рассматривают причины, по которым Советский Союз привлекал западных интеллектуалов. Но оба автора находили эти причины скорее в личных качествах самих интеллектуалов, чем в особенностях Франции или России. Данный аспект отношений между двумя странами остается, к сожалению, белым пятном.

Важно помнить, о чем в этой книге не говорится. Я не исследовал сравнительную динамику революций и уж точно не пытался обнаружить универсальный революционный сценарий, выявить факторы, общие для всех революций, — происхождение, ход, обстоятельства завершения. Об этом писали многие историки и политологи после выхода новаторского исследования К. Бринтона «Анатомия революции» (1938)⁶. Я также не намеревался выстраивать типологию революций, которая подчеркивала бы не моменты сходства, как у Бринтона, а различия. На эту тему много писали Ч. Джонсон и Б. Мур; насколько точна и полезна их классификация — вопрос, остающийся дискуссионным⁷.

Кроме того, я не касаюсь такого явления, как мышление по аналогии, хотя аналогии с французскими революциями, которые проводили большевики, подробно исследуются в книге, чтобы определить, какие уроки, по мнению самих большевиков, из них извлекались⁸. Я не пытаюсь также установить, насколько подобные аналогии полезны для политиков, и не разбираю разные типы аналогий, чтобы определить степень их надежности. Первый вопрос рассматривали Р. Нойштадт и Э. Мэй, второй — Р. Джер-

⁶ Концепция Бринтона критикуется в [Stone B. 2014: 1–44; Малиа 2015: 352–356] и, с марксистских позиций, в [Красин 1975: 278–282]. Подход, более приемлемый для политологов, чем для историков, заключается в том, чтобы различать революции не по идеологии и целям тех, кто их осуществляет, а по структурным различиям в институтах управления стран, где происходят революции. Результатом, вероятно, неизбежным, оказывается универсальная теория или универсальный сценарий революции, в которой «государственная сфера, вероятно, будет играть главную роль» [Скочпол 2017: 515].

⁷ Ч. Джонсон выделяет революции шести видов: крестьянскую, милленаристскую, анархистскую, якобинско-коммунистическую, заговорщическую и военную [Johnson 1964]. Краткий анализ его взглядов см. в [Stone L. 1966; Kamenska 1970: 7–8]. Б. Мур [Moore 1967] видит в революциях — которые, по его мнению, могут быть как мирными («революции сверху»), так и насильственными («революции снизу») — способ перехода от преимущественно крестьянского общества к современному индустриальному, и утверждает, что от того, как осуществляется этот переход, зависит тип власти, которая устанавливается в результате революции (демократия или диктатура).

⁸ Проницательный анализ такого образа мышления см. в [Coster 1978].

вис [Нойштадт, Мэй 1999; Джервис 2022]⁹. Наконец, я не занимаюсь ретроспективным сравнением французских революций с Октябрьской и не стараюсь найти между ними причинно-следственную связь: такие попытки зачастую приводят к нелепым, антиисторическим выводам, вроде утверждения о том, что французский Конвент был «чем-то вроде сталинизма... в зачаточном состоянии»¹⁰.

Предмет моего исследования — представления большевиков о вышеперечисленных французских революциях и роль, которую эти представления сыграли в складывании мифологии, призванной легитимизировать зарождающееся советское государство и в целом оправдать дело строительства социализма в СССР¹¹. Конечно, большевики ссылались на марксистское учение, которое задолго до Октябрьской революции стало чем-то вроде священного писания. Но марксизм совершенно не помогал в принятии политических решений, отчасти потому, что его создатели называли местом совершения будущих социалистических революций Западную Европу, а не Россию.

⁹ Полезная классификация ошибок, которые допускают политики, обращаясь к истории и, в частности, к историческим аналогиям, содержится в [Vertzberger 1986]. Исследователи много писали о том, как конкретные исторические аналогии влияли на историю. Ярким примером служит аналогия между политикой «умиротворения», воплощением которой стало Мюнхенское соглашение 1938 года, и неудачными попытками остановить коммунистическую экспансию в Юго-Восточной Азии. О том, как она способствовала вовлечению Америки во Вьетнамскую войну в 1960-е годы, см. [Yuen 1987].

¹⁰ Эти слова Ф. де Вилье приводятся в [Kaplan 1995: 55]. Еще смелее высказывался Я. Л. Талмон, усмотревший интеллектуальные истоки «тоталитаризма» в Просвещении и Французской революции [Talmon 1952]. Едкая критика Талмона содержится в [Gay 1963: 279–286].

¹¹ Примерно тем же темам посвящены некоторые работы историка России и Советского Союза Д. Шляпентоха [Shlapentokh 1989, 1997, 1999, 2009]; в совокупности они могли бы составить книгу, похожую на мою. Но ни в одной из них не выходит далеко за рамки 1917 года; к тому же все они, за исключением одной, написаны более 20 лет назад. Внимательное рассмотрение библиографии к этой книге покажет, что я учитывал труды, написанные на эти темы как западными, так и постсоветскими исследователями существенно позже.

Большевики хорошо понимали это, и многие из них — но не Ленин — полагали, что любая попытка революции будет преждевременной: все окончится неудачей, и даже если большевики возьмут власть, они не смогут удержать ее надолго. Однако в 1917 году большевики пришли к власти и правили страной в течение последующих 74 лет. Правда, это не означало, что при создании советского государства проблема примирения их идеологии с объективной реальностью не встала перед ними так же остро, как в 1917 году. В переломные моменты своего правления большевики зачастую вынуждены были импровизировать, и поскольку марксистская идеология не давала нужных подсказок, они обращались к Франции с ее революционной традицией, чтобы получить хоть какие-нибудь ответы. В результате различные примеры из французской истории стали использоваться большевиками для обоснования многих своих действий: вначале шли ожесточенные споры о Робеспьере и якобинцах, затем, во время нэпа, жаркая полемика относительно «термидорианского перерождения» советского режима; при Сталине вспомнили об опасности «бонапартизма», которая казалась вполне реальной и при Хрущеве (будущего Бонапарта видели в маршале Жукове). В последние годы существования Советского Союза Горбачев и его идеологи периодически ссылались на опыт Французской революции и Парижской коммуны, оправдывая политику перестройки.

Сразу предупреждаю, что все четыре французские революции, составляющие революционную традицию, рассматриваются в книге по отдельности и в хронологическом порядке. Так, например, вначале будет рассказано, что думали русские о Великой Французской революции с самого ее начала в 1789 году и вплоть до распада Советского Союза в 1991-м; затем (в следующей главе) — что думали русские (порой те же самые) о революции 1830 года. Иными словами, при соблюдении хронологии революций читатель будет вынужден «путешествовать взад-вперед» по русской истории, что может показаться не очень удобным. Единственная альтернатива — исследовать в хронологическом порядке, с 1789 по 1991 год, отношение русских ко всем четырем

французским революциям, — выглядит неприемлемой: читателю придется держать в уме все, что думал, к примеру, Ленин обо всех четырех революциях в тот или иной момент, и при этом вспоминать, как менялись его взгляды на одну, две, три или все четыре революции.

И наконец, заключительное предупреждение: в отличие от астрономии, где слово «революция» означает только движение небесного тела по орбите вокруг другого тела, в истории и политологии существует бесчисленное множество определений революции, и ни одно из них не без изъяна. Каждое определение в каком-нибудь смысле будет неполным или неудачным. Но анализировать революции, не дав определения самому этому явлению, явно не стоит. Это лишь запутает читателя. Меньше всего возражений вызывает то, которое предложил С. Хантингтон:

Революция — это быстрая, фундаментальная и насильственная, произведенная внутренними силами общества смена господствующих ценностей и мифов этого общества, его политических институтов, социальной структуры, руководства, правительственной деятельности и политики [Хантингтон 2004: 269]¹².

Хантингтона можно упрекнуть разве что в том, что он недооценил масштаб амбиций творцов таких революций, как Французская и Октябрьская: их идеологи предусматривали не только перемены, о которых он упоминает, но и преобразование человечества в целом. По сути, сама грандиозность этих устремлений предполагала не только резкий разрыв с существующим порядком, но и убежденность в том, что главную ценность прошлого составляет заложенное в нем обещание будущего. Это будущее, некогда явленное людям в виде лучших проявлений прошлого, станет уделом не только французов или русских, но и всего народонаселения Земли. Хотя большевики, в отличие от якобинцев, не стали менять календарь, они стремились к еще более радикальному преобра-

¹² Есть и другие работы, содержащие удачные определения, от которых можно отталкиваться: [Goldstone 1991; Tilly 1996; Dunn 1989; Parker 1999].

жению человечества. Но одна из многочисленных шуток истории состояла в том, что, преследуя свою великую цель, большевики слишком часто оглаживались назад — на французские революции, которые завершились еще до их рождения.

Разумеется, французская революционная традиция оказалась полезной для большевиков, сообщив им легитимность, став источником вдохновения и снабдив их словарем, который можно было использовать в полемике, переходя на личности, чтобы получить политическое преимущество. Но нередко она подводила их. Поиск большевиками аналогий с любой из четырех революций обычно порождал лишь много шума из ничего: он не давал ключей ни к происходящему в Советском Союзе, ни к пониманию самих французских революций, из которых черпались аналогии. Лучше бы они вовсе не обращались к французской революционной традиции, или, по крайней мере, проводя свои аналогии, помнили, что исторические события не терпят поверхностных сравнений, отрицающих или серьезно преуменьшающих их исключительность. И в той степени, в какой мне удалось продемонстрировать этот факт, моя книга будет полезна всем историкам, не только специалистам по России и Франции.

Слова благодарности

Написание книги — всегда в той или иной мере коллективный труд. Моя книга не исключение: едва ли я смог бы обойтись без помощи и в большом, и в малом.

Идея этой книги зародилась в ходе бесед с Эриком Эдельманом, моим соседом по комнате и самым близким из товарищей-аспирантов: именно благодаря ему я за нее и взялся. Спустя годы мой коллега из Центрального университета Коннектикута Болек Бискупски сначала подтолкнул меня к началу работы над этим проектом, а затем содействовал его завершению. В промежутках он с готовностью читал отрывки, которые я ему присылал, и делал penetrating замечания.

Другие коллеги щедро тратили свое время на мою книгу, помогая кто чем мог. Пол Карпук давал советы по переводу с русского на английский, а Гленн Саншайн, знающий о Старом порядке во Франции несравненно больше меня, отвечал на мои многочисленные вопросы о его падении. Из университетских коллег, наверное, больше всех для меня сделала Сара Уайт, сотрудница межбиблиотечного абонемена в библиотеке Элиху Берритта: она неутомимо выполняла мои бесконечные запросы на малоизвестные документы на непонятном ей языке, не теряя доброго расположения духа. Без ее помощи я не смог бы написать эту книгу.

Также я имел счастье получить помощь историков из других университетов. Мариса Линтон из Кингстонского университета любезно отвечала на мои вопросы о якобинцах и жирондистах; Джонатан Спербер из Университета Миссури уточнил источники, в которых Маркс писал о французских революциях, рассматриваемых в книге. Мэтью Рендл из Эксетерского университета

прочитал один из первых вариантов рукописи и дал ценные советы по ее улучшению. Кристофер Рид из Уорикского университета сделал то же самое и даже предложил название, которое я тут же принял: он был убежден, что первые главы должны быть посвящены представлениям о французской революционной традиции, которые сформировались у русских революционеров до появления большевиков. Наконец, я буду всегда благодарен Мартину Конвею из Баллиол-колледжа Оксфордского университета, который, оторвавшись от собственных исследований, самоотверженно уделил мне время, прочтя оригинальную рукопись и сделав глубокие и детальные замечания: тем самым он продемонстрировал, что Атлантический океан не является препятствием для совместной работы. Он присовокупил к своим комментариям шутку о том, что французы совершали свои революции, чтобы русские могли о них рассуждать; по-моему, она содержит больше правды, чем он мог себе представить.

Все книги, независимо от автора, во многом зависят от качества работы издателей. В этом отношении мне чрезвычайно повезло: редакторы издательства Оксфордского университета, с которыми я работал, полностью оправдали мои ожидания. С тем вниманием, которое Кристина Перри и Кэтрин Стил неизменно проявляли ко мне на разных этапах многоступенчатого процесса превращения рукописи в книгу, могут сравниться только их профессионализм и хладнокровная эффективность. К счастью, то же самое можно сказать и о Саранье Джаякумар, старшем менеджере проектов SPi Global, одной из партнерских производственных компаний издательства: она курировала редакторскую работу, которую выполнил Брайан Норт, с предельной точностью и сочувствием к моим душераздирающим воплям, когда Microsoft Word отказывался мне повиноваться. Его наметанный глаз сразу же обнаруживал ошибочные цитаты и неверно составленные библиографические записи, что было просто замечательно. Не менее замечательной оказалась расторопность, с которой Кристофер Саммервилл подготовил указатель.

Некоторые содействовали выходу моей книги, даже не подозревая об этом. Мэри и Джерри Криэн поддерживали мой дух,

когда после утомительной исследовательской и редакторской работы я чувствовал себя слишком уставшим и подавленным, чтобы продолжать начатое. Джеральдин Ленц давала мне столь необходимую моральную поддержку, а ее взгляды на вопросы, далекие от традиций Французской революции, неожиданным образом повлияли на меня, углубив мое понимание этой темы. Мои кузены Нил Кордей и Пол Станцлер не давали моему разуму закиснуть, задавая мне острые вопросы о целях и более широком значении этого проекта, а мой старейший и ближайший друг Скотт Семинар дал пример спокойного мужества перед лицом невзгод, и я понял, насколько незначительными были мои собственные трудности во время написания тех или иных глав. Он и его жена Дайана открывали мне двери своего дома всякий раз, когда мне нужно было отвлечься от заметок и черновых набросков, с тем же гостеприимством, которое ранее проявляли его покойные родители, Эдит и Максвелл Семинар. И я проявил бы крайнюю неблагодарность, если бы не сказал спасибо докторам Джеффри Лауту и Стюарту Кеслеру за то, что они спасли мне жизнь.

Всеми своими достоинствами эта книга в конечном счете обязана преподавателям, вдохновлявшим меня в колледже и аспирантуре. Много лет назад, будучи студентом Брандейского университета, я имел счастье посещать курс по гражданским свободам в Америке, который читал Джерольд Ауэрбах. Строгость анализа, которой он требовал от своих студентов, стала для меня стандартом академического совершенства, и я старался его соблюдать в своей научной и преподавательской деятельности. Будучи докторантом Йельского университета, я научился у Барбары Маламент и Фируза Каземзаде навыкам, необходимым для написания исторических трудов; последний умело руководил моей докторской диссертацией. Еще один мой преподаватель в Йеле, Роберт Крамми, обладал умением сводить сложные вопросы к самой сути, делая это с небывалой ясностью и точностью, и произвел на меня такое впечатление, что я почти отказался от современной российской истории в пользу допетровской, по которой он специализировался. В Йеле я также познакомился

с Генри А. Тернером — младшим, который читал замечательный курс по фашизму, стремясь к строгой аргументации и скрупулезному анализу эмпирических данных; он стал для меня воплощением профессионального историка в лучшем смысле слова, и мудрые советы, которыми он делился, до сих пор хранятся в моей памяти. Одно из немногих сожалений, связанных с этой книгой, — то, что он не дожил до ее выхода.

То же самое, увы, можно сказать и о моих родителях, Мо и Ханне Бергман, которые скончались вскоре после того, как я начал работу над ней. Но их безграничная поддержка на ранней стадии моей научной карьеры и их убежденность в том, что я смогу преодолеть все препятствия и достичь любых целей, которые поставлю перед собой, до сих пор находят отклик в моей душе. Верю, что мои труды поспособствуют увековечению их благословенной памяти.

Моя жена Джули, разделившая со мной жизнь, стала моим лучшим критиком. В выходные она с удивительным спокойствием переносила долгие часы, когда я запирался в своем кабинете, вдали от дома, и занимался тем, что мало интересовало ее, разве что как жену, желающую знать, чем занят муж. Я не смог бы завершить этот проект без ее любви, терпения и поддержки. Из всех наших совместных радостей самой большой стало наблюдение за тем, как наш сын Аарон превращается из ребенка во взрослого человека, удивительно чуткого и высоконравственного. Во время моей научной работы и написания книги он много раз напоминал мне, что в жизни есть не только яacobинцы и большевики.

Маршалл Шац был моим первым наставником, специализировавшимся по истории России. Обучаясь в Брандейсе, я решил взять с него пример и заняться тем же самым; на протяжении многих лет, прошедших с тех пор, как наши пути разошлись, он в каком-то смысле оставался рядом со мной, делая замечания относительно моей работы, ясные и бьющие точно в цель, — качества, которые характеризуют его безупречную научную деятельность. Я посвятил эту книгу ему, и каким бы сердечным и всеохватывающим ни казалось это посвящение, оно не отражает всей полноты моей благодарности.

Конец ознакомительного фрагмента.

Приобрести книгу можно

в интернет-магазине

«Электронный универс»

e-Univers.ru